

В.Ф. Ходасевич

[История создания оды «Фелица»]

Тогда все поэты служили — звания писателя не существовало. Общественное значение литературы уже признавалось, но на занятие литературой смотрели как на частное дело, а не общественное. Что касается Державина, то в его понятиях поэзия и служба были связаны особенным образом.

Он, конечно, не думал, что чин или орден могут прибавить достоинства его стихам: равным образом не смотрел он и на стихи, как на способ для добывания орденов и чинов; это пошлое представление пора забыть. Дело обстояло иначе, гораздо серьезнее и достойнее. К началу 1780-х, когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига.

Поездка по Волге, предпринятая Екатериной в 1767 году, подтвердила ее неутешительные мысли о внутреннем положении России. Случаю было угодно, чтобы эти печальные наблюдения были сделаны в тех самых местах, где прошло горькое детство Державина и невеселая его юность. Угнетение, произвол, бесправье, бессудье — вот что увидела государыня во глубине страны. То, что ей было показано лишь издали и отчасти, Державину было давно ведомо безо всяких прикрас по личному опыту и по опыту его близких. Врожденная бедность, несмотря на дворянское звание, рано приблизила его к простому народу, и память об этой близости никогда в нем не угасала: жила в воспоминаниях об избитом отце, о челобитчице-матери, плачущей у приказных дверей, о собственном сиротстве, о грубостях и обидах солдатчины; жила эта память и в складе его ума, отчасти мужицкого, и в чертах житейского обихода, и в его отношении к собственным крепостным, и, наконец, — в самом языке его.

На усмирение пугачевщины Державин отправился по карьерным соображениям; он и умирал ее со всеусердием — по тем же соображениям, и по долгу присяги, и потому, что Емельян Пугачев был в его глазах жестоким и грязным обманщиком. Но вот что весьма замечательно: не в личности Пугачева, конечно, но в пугачевщине, как движении народном, он очень скоро почуял если не правду, то все же логику. Понял, что возмущение имеет свои причины и оправдания. След этих раздумий — в его письме к казанскому губернатору Бранту от 4 июня 1774:

«Доложить вашему высокопревосходительству смею: надлежит искоренить взятки. Говорить о истреблении заразы сей потому я за должное себе поставляю, что разливание оной наиболее всего, по моим мыслям, пособствует злу, терзающему наше отечество».

Но это лишь след, лишь то, что Державин по своему положению мог сказать к слову и в официальной бумаге. Мысли его шли дальше. Это видно из того отношения, которое в пору пугачевщины стало у него складываться к самодержавной власти и к личности самодержца.

Уже в ранних (очень слабых) стихах Державина, посвященных Екатерине, находим многословные рассуждения о ее заслугах и общественных добродетелях. Однако ж автор нигде не говорит о том, что эти заслуги суть основание и оправдание ее власти. Державину с малых лет была внушена идея о святости самодержавия, о его происхождении свыше. В глазах молодого Державина помазанник прав и велик уже в силу своего помазания. (Разумеется, очень хорошо, если при том имеются за ним и заслуги.)

После пугачевщины у него от этих воззрений ничего не осталось. Насколько повлияла тут пугачевщина, решить невозможно, у нас нет прямых данных. Но в самом факте сомнения быть не может: уже в пору писания Читалагайских од Державин

так или иначе расстался с идеей о божественном происхождении царской власти. Помазание и титул перестали для него значить что бы то ни было. Отныне в его глазах «пышность одежд» равняет царей не только с богами, но и куклами. Императорская порфира не мешает ее носителю падать и еще ниже:

Калигула, быть мнимый богом,
Не равен ли с своим скотом?

Два года спустя, в «Эпистоле И.И. Шувалову» мысль эта повторена:

О! жалкий полубог, кто носит тщетно сан:
Пред тронем тот ничто, на троне истукан.

Отсюда вовсе не следует, что Державин не признает царской власти. Он только ищет для нее иной источник и иную опору. Вот отрицательная формула, из которой, однако ж, легко вывести и положительную:

Пускай в подсолнечную трубит
Тиран своим богатством страх;
Когда народ кого не любит,
Полки его и деньги — прах.

Это неуклюже, но ясно. Это значит, во-первых, что властитель, не опирающийся на народную любовь, в сущности безвластен. Во-вторых, что он и не царь, а тиран, захватчик власти, которого можно согнать с престола, не совершая никакого святотатства. Следовательно, царя от тирана отличает не помазание, а любовь народа. Только эта любовь и есть истинное помазание. Таким образом, не только опорой, но и самым источником царской власти становится народ. Эта мысль не вяжется с укоренившимися представлениями о Державине. Однако ж, она не случайно, не в «поэтическом жару» высказана; Державин постоянно к ней возвращается, она отныне лежит в основе его воззрений, и без нее понять Державина невозможно.

Под словом *народ* он склонен был разумеать всю нацию, и это ему удавалось, пока шла речь о делах военных или дипломатических, пока *русский* народ противопоставлялся какому-нибудь иному. Но лишь только взор Державина обращался во глубину страны, непосредственное чувство тотчас побуждало его звать народом лишь обездоленную, бесправную часть нации. Дело, однако, шло вовсе не об одном крестьянстве: бедный дворянин, вотще ищущий суда и управы на богатого соседа, или мелкий чиновник, прижимаемый крупным, в глазах Державина были такими же представителями народа, как и крестьянин, страждущий от произвола помещичьего. Словом, так выходило, что кто страдает, тот и принадлежит к народу; царь же народный — защита и покров всего слабого и угнетаемого от всего сильного и угнетающего.

На Екатерину Державин взирал с благоговением. Он ожидал, что именно ей дано стать такой народной монархиней, «радостью сердец», способною облегчить народную долю, защитить слабых, укротить сильных, утереть слезы вдов и сирот. Эти надежды казались ему тем более основательными, что первые уроки вольнодумства были даны ему самой жизнью, а вторые, более систематические, он извлек из екатерининского Наказа, этого собрания самых передовых, самых гуманных и либеральных идей, дотоле высказанных в России (да и не только в России: недаром распространение Наказа было воспрещено во Франции). Екатерина была его наставницей: уже в Читалагайских одах он делает прямые заимствования из Наказа. Больше того: Наказ и созыв Комиссии по составлению проекта нового уложения одушевили Державина главной мыслью, которой суждено было стать основанием его поэтического и служебного пафоса.

После того как существующее законодательство было с высоты трона объявлено несовершенным и не ограждающим народа от произвола и кривотолка; после того как отсутствие законности было признано первым злом русской жизни; после того как законопослушание было названо основной добродетелью не только подданного, но и монарха, — у Державина, можно сказать, открылись глаза. Простое слово *Закон* в русском

тогдашнем воздухе прозвучало как откровение. Для Державина оно сделалось источником самых высоких и чистых чувств, предметом сердечного умиления. *Закон* стал как бы новой его религией, в его поэзии слово *Закон*, как Бог, стало окружено любовью и страхом.

Наказ между тем давно лежал под сукном, а Комиссия была распущена. Это не смущало Державина. Екатерина в его глазах была навсегда озарена сиянием Наказа. Упрямый и прямолинейный, он в воображении своем наделял и ее этими двумя свойствами, которых в ней как раз не было. Тех сложных политических и личных обстоятельств, в которых протекала жизнь государыни и которые постепенно уводили ее от возвышенных предначертаний Наказа, он отчасти не знал, отчасти не хотел знать. Весьма рационалистически лишив монархию религиозного ореола, он в целостности перенес этот ореол на голову данной монархини. Его поэтический гиперболизм превращался тут в политический. Екатерина в его глазах сделалась обладательницей гражданских, то есть вполне человеческих добродетелей, но в полноте и степени уже не человеческой, титанической. Он допускал, что на ее пути могут встретиться и препятствия, и несчастья, но, с безжалостной требовательностью обожателя, готов был им радоваться:

Услышьте все земны владыки
И все державные главы!
Еще совсем вы не велики,
Коль бед не претерпели вы!
Надлежит зло претереть пятой,
Против перунов ополчиться,
Самих небес не утрашиться
Со добродетельной душой.

Богиню он хотел окружить жрецами, ее достойными. Он видел пороки и происки вельмож. Ему представлялся выбор: бичевать порок или поощрять добродетель. Он не хотел вовсе отказаться от первого, но избрал преимущественно второе: вот почему он не стал сатириком. Изображение добра представлялось ему более плодотворным, нежели обличение зла. Он старался создать образец вельможи добродетельного, великодушного, бескорыстного, пекущегося о народном благе:

Я князь, коль мой сияет дух,
Владелец, коль страстьми владею,
Болярин, коль за всех болею...

«Друг царский и народный» — вот, по его определению, истинный вельможа. Такими виделись ему Бибиков, И. Шувалов. Таким он желал стать и сам. Тут, именно в этой точке, поэтическая деятельность соприкасалась у него со служебной. По его мнению, слова поэта должны быть им же претворены в дела. Обожатель Екатерины мечтал быть ее верным сподвижником, поклонник *Закона* хотел стать его неколебимым блюстителем.

* * *

В 1779 году здание Сената перестраивалось. Державин, по должности экзекутора, наблюдал за работами. Между прочим, зала общего собрания была украшена новыми барельефами, изваянными Рашетом. По окончании работ Вяземский [начальник департамента государственных доходов, в котором служил Державин] вздумал осмотреть залу. На одном из барельефов представлен был храм Правосудия; императрица, в образе Российской Минервы, вводила в него Истину, Человеколюбие и Совесть. Поглядев на обнаженную фигуру Истины, Вяземский сделал кислое лицо и обратился к Державину:

— Вели ее, братец, несколько прикрыть.

Может быть, он не намеревался придать этим словам аллегорический смысл, но для Державина они прозвучали именно так. Чем ближе знакомился он с делами,

тем видел яснее, что «стали отчасу более прикрывать правду в правительстве». Кое-какие проделки генерал-прокурора он уже приметил. В следующем году между ним и начальником впервые пробежала черная кошка.

Только что были учреждены экспедиции о государственных доходах и расходах. Они находились в ведении генерал-прокурора. Державин был назначен одним из советников экспедиции доходов, и это поставило его в непосредственную служебную близость к Вяземскому. Для начала надобно было составить «начертание» о круге действий и об обязанностях экспедиций. Случилось так, что те, кому надлежало бы этим заняться, уклонились, и Вяземский поручил дело Державину, — с неохотою, ибо почитал его не довольно опытным. Последнее было справедливо. Сам Державин не без отчаяния принялся за работу, постановив, однако же, лицом в грязь не ударить. Он заперся у себя и не велел никого принимать. «Поелику ему была дика и непонятна почти материя, то марал, переменял и наконец через две недели составил кое-как целую книгу без всякой посторонней помочи». На общем собрании экспедиции, когда читался державинский труд, Вяземский всячески придирался, но все же вынужден был представить «начертание» государыне; оно было подтверждено и вошло в Полное Собрание Законов.

Конечно, Державин был весьма горд: без знаний, без подготовки удалось ему выполнить поручение важное и ответственное. Он ждал награды — и не получил. Даже так выходило, что его труд едва ли не пытались приписать Храповицкому, уклонившемуся от этой работы. Обиженный Державин поведал горе приятелю своему Львову; Львов был, что называется, правой рукой Безбородки, тогда состоявшего одним из секретарей государыни. Державин через голову Вяземского был произведен в статские советники. Понятно, какую досаду вызвало это в генерал-прокуроре, тем более что Безбородко был в числе его недругов. Он все же старался скрыть раздражение: приязнь между семействами Вяземских и Державиных поддерживалась, княгиня очень любила Екатерину Яковлевну.

Настал, однако же, день, имевший решительное влияние не только на отношения Державина с генерал-прокурором, но и на всю его жизнь.

То было в конце мая, в 1783 году. Державин обедал у Вяземских. Он был не в духе: с часу на час должно было решиться одно дело, исход которого тревожил его уже несколько месяцев. Вдруг после обеда, часу в девятом, вызывают его в переднюю; там стоит почтальон с пакетом; на пакете странная надпись: «Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе Державину», — а внутри осыпанная бриллиантами золотая табакерка с пятьюстами червонцев.

Державин тотчас догадался, что это и есть решение его участи. «Но не мог и не должен был принять это тайно, не объявив начальнику, чтобы не подать подозрения во взятках: а для того подошел к нему, показал».

— Что за подарки от киргизцев? — гневно проворчал было генерал-прокурор. Но, осмотрев табакерку, он тоже все понял: посылка была от императрицы.

— Хорошо, братец, вижу и поздравляю, — сказал Вяземский. — Возьми, коли жалуют.

При этом постарался он улыбнуться, но улыбка вышла язвительная.

«Оду к премудрой киргизкайсацкой царевне Фелице» Державин написал еще в прошлом году, но ее вольный тон и насмешливые намеки на сильнейших вельмож — даже на Потемкина — показались опасны самому автору. Львов и Капнист были того же мнения. Решено было оду прятать, но проницательный Козодавлев, живя с Державиным в одном доме, прочел несколько строк и упросил показать полностью. Потом, под страшными клятвами, взял списать для некоей госпожи Пушкиной, любительницы поэзии, а через несколько дней ода уже очутилась у И. Шувалова, — разумеется, по секрету. Шувалов в застольной беседе прочел ее нескольким господам — опять-таки по секрету. Они по секрету пересказали ее Потемкину — Потемкин ее затребовал от Шувалова. Тот в страхе вызвал Державина и спросил, как быть: посылать целиком или выбросить строфы, относящиеся к Потемкину? Постановили послать целиком, чтобы не возбудить лишних

подозрений. Тут только узнал Державин, какую огласку получили его стихи. Он поехал домой «с крайним прискорбием». Все это могло кончиться для него плохо.

Несколько месяцев ждал он последствий и томился неизвестностью. Меж тем к весне 1783 года княгиня Дашкова, будучи директором Академии наук, задумала издавать журнал. Козодавлев в ту пору при ней состоял советником. Опять ничего не сказав Державину, он принес Дашковой «Фелицу» — и 20 мая, в субботу, ода внезапно появилась в первой книжке «Собеседника любителей русского слова». Теперь она должна была дойти до императрицы; Державин жил в страшном волнении, не зная, чего ожидать. В день обеда у Вяземских приход почтальона разрешил все, — страхи сменились великой радостью.

К тому, что писали о ней в стихах и в прозе, Екатерина была любопытна. Прежние похвалы Державина, в сущности более громкие и глубокие, нежели те, которые заключались в «Фелице», она, вероятно, тоже читала. Но они даже не запомнились — потонули в хоре привычной лестии. А над «Фелицей» она несколько раз принималась плакать. «Как дура, плачу», — сказала Дашковой. Почему же она была так растрогана?

Она не слишком любила стихи, не много в них понимала и самого вещества поэзии не чувствовала. Вопросы чистой поэзии не занимали ее. При всей любви к литературным упражнениям, она не умела составить ни одного стиха и сама в том признавалась; даже легонькие куплеты для своих комедий заказывала другим. Чем выше парило стихотворение, чем было высокопарнее (вернем этому слову его прекрасный первоначальный смысл), тем слабее оно доходило до ее слуха, тем менее было способно затронуть в ней чувства.

«Фелица» должна была прийтись ей по вкусу и пониманию — именно теми особыми свойствами, которые снижали это произведение как собственно оду: своей сатирической стороной, своим легким, шутивным тоном, своим бытовым, приближенным к обыденности материалом, наконец — самим слогом, который Державин так метко назвал «забавным», с его «низким» словарем и обильными заимствованиями из повседневной речи. Эти же качества вызвали бурный успех «Фелицы» и у большинства тогдашних читателей (в том числе у многих стихотворцев), и у потомства. Не должно, однако, смотреть на «Фелицу» как на преобразование оды. На самом деле то было не преобразование, а разрушение. Конечно, значение «Фелицы» в истории русской литературы огромно: с нее (или почти с нее) пошел русский реалистический жанр, этим она способствовала даже развитию русского романа; но ода, как таковая, в ней не преобразована, потому что она сама переставала уже быть одой: до такой степени в ней нарушена одическая традиция русско-французского классицизма.

Но вернемся к Екатерине. Конечно, не литературными свойствами «Фелицы» были вызваны ее слезы; эти литературные свойства только открыли императрице доступ к пониманию оды, сняли печать со слуха.

Чувствительность не была ей чужда; знавала она и сильные увлечения; случалось, что приступы горя или гнева овладевали ею; но при всем том здравый смысл покидал ее разве лишь на мгновения. В частности, она очень трезво и просто смотрела на собственную особу. Дальше всего она была от того, чтобы считать себя каким-нибудь сверхъестественным существом. Когда ее изображали богиней, она принимала это как должное, но не узнавала себя в этих изображениях. Шлем Минервы был ей велик, одежды Фелицы пришлись как раз впору. Державин думал, что внешняя шуτικότητα тут искупается внутренним благоговением. В глазах же Екатерины это было как раз такое изображение, которому она могла, наконец, поверить. То, что казалось Державину почти дерзостью с его стороны, нечаянно обернулось лестью, проникшей Екатерине в самое сердце. В «Фелице» она увидела себя прекрасной, добродетельной, мудрой, но и прекрасной, и мудрой, и добродетельной в пределах, человеку доступных. А сколько внимания было проявлено автором не только к ее государственным трудам, но и просто к привычкам, обычаям, склонностям, сколько подмечено верных и простых черт, даже обиходных мелочей

и пристрастий! Словом, при всей идеальности, портрет и на самом деле был очень схож. Екатерина считала, что безымянный автор разгадал ее всю — от больших добродетелей до маленьких слабостей. «Кто бы меня так хорошо знал?» — в слезах спрашивала она у Дашковой.

Даже такая, в сущности, мелочь, как выгодное сравнение с окружающими вельможами, доставила ей удовольствие. Это сравнение было вполне в ее духе: она не хотела быть выше сравнений. Она довольно суетливо принялась рассылать оттиски «Фелицы» Потемкину, Панину, Орлову — всем, кто задел был автором: императрица и самодержица всероссийская любила разыгрывать с приближенными забавные witz'ы¹ в духе доброго, старого ангалт-цербстского захолустья. Табакерка с червонцами, посланная «мурзе Державину» от имени киргизской царевны, конечно, принадлежала сюда же. Но она разом ставила Державина очень высоко, как бы вводила его в круг людей, с которыми императрица шутит.

В тот майский вечер, с табакеркой Фелицы в кармане, Державин уходил от Вяземского новой знаменитостью. Последующие дни принесли ему такую шумную литературную славу, какой Россия до тех пор не видывала. В поэтическом отношении эта слава была бы справедливее, если бы последовала тотчас за стихами на смерть Мещерского. Но были общественные причины ей прийти именно теперь. Дух «Фелицы» стал духом «Собеседника». Журнал сделался прибежищем смелой общественной критики. Похвалы Екатерине в нем сочетались с острой полемикой по поводу таких предметов, о каких прежде молчали. Екатерина собственными писаниями тому способствовала, пока не пришлось ей полемику прекратить, ибо языки развязались слишком.

¹ *Witz* — острога (нем.).